



И.И. Панаев

*Сочинения*



Иван Панаев  
**Белая горячка**

«Public Domain»

1844

## **Панаев И. И.**

Белая горячка / И. И. Панаев — «Public Domain», 1844

«Несколько лет назад, – и может быть, некоторые из читателей моих вспомнят об этом, – на выставке Академии художеств обратили на себя всеобщее внимание две картины: одна изображала Ревекку у колодца, другая какую-то девушку в белом платье, очень задумчиво и чрезвычайно поэтически сидевшую на крутом берегу какой-то реки, в ту самую минуту, когда вечерняя заря уже потухла и вечерние пары, медленно поднимаясь от земли, покрывали и горы, и лес, и луга, и воду синеватою дымкою...»

© Панаев И. И., 1844

© Public Domain, 1844

## Содержание

I	5
II	10
III	14
IV	17
Конец ознакомительного фрагмента.	19

# Иван Иванович Панаев

## Белая горячка

### Повесть

*"– Повесть! В этих повестях все такие сатиры и ничего нет правдоподобного. Даже, поверите ли, иной раз обидно читать.*

*– Да, они – эти сочинители, не умеют совсем списывать с натуры; все они пишут точно в белой горячке.*

*– Можно, я вам скажу, и с натуры списывать, но так, чтоб не было обидно и чтобы нельзя было принять на свой счет".*

*(Разговор в гостиной г-жи Г\*)*

*«С кого они портреты пишут? Где разговоры эти слышат?..»*  
*(Лермонтов)*

## I

Несколько лет назад, – и может быть, некоторые из читателей моих вспомнят об этом, – на выставке Академии художеств обратили на себя всеобщее внимание две картины: одна изображала Ревекку у колодца, другая какую-то девушку в белом платье, очень задумчиво и чрезвычайно поэтически сидевшую на крутом берегу какой-то реки, в ту самую минуту, когда вечерняя заря уже потухла и вечерние пары, медленно поднимаясь от земли, покрывали и горы, и лес, и луга, и воду синеватою дымкою. Правда, многие находили, что в лице Ревекки и в лице этой задумчивой девушки одни и те же черты, одно и то же выражение, и приписывали такое странное сходство недостатку творчества в художнике. Но, несмотря на это, всякий день, во все продолжение выставки, около этих картин была давка. Перед этими картинами останавливались – и чиновница в кожаных ботинках со скрипом, и нарумяненная барыня в шляпке с перьями, с удивительными и восклицательными междометиями, и дама большого света, никогда ничему не удивляющаяся, и канцелярский чиновник в черной атласной манишке со складочками, и его редковолосый начальник со Станиславом, развешенным на груди, и fashionable лорнетом в глазе, и конноартиллерийский армейский офицер ужасающего роста в очках, и маленький инженер, рассуждающий о науках и танцующий по воскресеньям на вечеринках у статских и других советников, и кавалерист, военный денди – непременно лицо на всех балах и раутах, и вертлявая горничная с Английской набережной, в шляпке, с затянутой талией, воспитанная в магазине г-жи Сихлер, и толстая девка от Знаменья, недавно привезенная из деревни. У этих двух картин толпились все эти лица, фигуры и фигурки, которые вы, я и все мы ежедневно встречаем на Невском проспекте, на этой вечной петербургской выставке.

Отчего же эти две картины привлекли такое лестное, одобрительное внимание целого народонаселения Петербурга? Принадлежали ли они к тем эффектным произведениям живописи, которые невольно поражают с первого взгляда и не знатоков? Была ли это дань удивлению и восторгу истинно-художественным произведениям?

Картины точно были эффектны, и эта эффектность происходила от оригинальности их освещения; к тому же выпуклость фигур, казалось, выходивших из полотна, резко бросалась в глаза всякому, а свежесть зелени, на которую художник, видно, не пощадил краски, приводила большинство в невыразимый восторг. Такие достоинства должны были не шутя выдвинуть эти картины на первый план. Пройдя несколько зал, установленных портретами, ландшафтами, снятыми с довольно плоской и незатейливой местности, да историческими картинами, в кото-

рых фигуры группировались с симметрической точностью, словно размеренные по циркулю, и вместе с тем отличались безукоризненными академическими позами, – и бегло обозрев все эти произведения, зритель чувствовал, что в голове его делался престашный хаос, в глазах у него рябило, а ноги подгибались от усталости... Наконец, запыхавшись, о блаженство! он достигал до последней залы; чтобы перевести дух, сидел на окне, и вдруг, вовсе неожиданно, поражала его зрение чудная еврейка, красавица, грациозно стоявшая у колодца, на которую, право, можно было заглядеться и после великолепной картины Горация Вернета... Утомленное внимание зрителя при взгляде на еврейку возбуждалось снова, и он с участием подходил к картине, чтобы хорошенько рассмотреть ее. А рядом с еврейкою – другая картина, девушка на берегу реки в сумраке вечера... Стоило взглянуть на эту картину: в ней открывалось столько таинственного и бесконечного...

Однако не без основания можно положить, что успех этих обеих картин объяснялся еще тем, что они стояли в зале перед самым выходом. Последнее впечатление, каково бы оно ни было, всегда сильнее первого, и память, растерявшаяся во множестве пестрых явлений, мелькавших перед глазами, не сохранившая ни одного штриха, ни одной черты, ни одного образа, радехонька ухватиться за последний предмет, особенно если этот предмет поразил не одни глаза, а хоть сколько-нибудь подействовал на душу. Странное дело! память никогда не верит одним глазам!.. Надобно при этом взять в расчет и то, что прогулка по залам должна была возбудить аппетит у каждого, а от этих двух последних картин сейчас можно было перейти к завтраку или к обеду.

Таким точно образом, после прогулки на выставке, за превосходным завтраком, который был состряпан истинно художнически, при четвертой бутылке шампанского, несколько известных любителей и покровителей искусств решили, что живописец, написавший Ревекку и Девушку на берегу реки, должен быть талант необыкновенный. Эти господа, светские любители и покровители, пользовавшиеся самою блестящею славой в петербургском большом свете, прожившие много лет и много тысяч в чужих краях, вывезшие оттуда великолепные альбомы, сами сделавшие несколько эскизов карандашом и претендовавшие на звание почетных членов Академии художеств, объявили во всеуслышание о новооткрытом ими таланте. «Талант! А-а! в самом деле талант? – заговорили дамы. – Кто он?» «Ах, боже мой, что за восхитительные картины... этакая прелесть! Как же живо и натурально, ах, ах! – кричали барыни. – Да что он? да где он?..»

«Торжествуйте, г. живописец! счастье обратилось к вам своим лицом и улыбается вам; вы восстаете из мрака неизвестности и выходите на свет божий, а это очень приятно!» – думал я, ходя по залам выставки, останавливаясь порой перед этими двумя картинами, так понравившимися публике, и прислушиваясь к суждениям знатоков и любителей об искусстве вообще и об этих картинах в особенности. Такого рода занятие мне очень понравилось: бывало, только что встану и напьюсь чаю, сейчас же на выставку, и не замечу, как пройдет утро.

Всего более я любил гулять в больших залах, установленных портретами... Сначала, правда, мне показалось странно, каким образом более или менее удачные копии с более или менее известных физиономий удостоились чести быть на выставке художественных произведений? Какое до них дело искусству?.. Но впоследствии я оставил в стороне эти вопросы и с большим любопытством и наслаждением принялся рассматривать выставленные физиономии.

Однажды, когда я стоял перед портретом одного из тех красавцев, которые восхищают барынь и которых они обыкновенно называют бель-омами, и любовался его победоносными глазами и цепочкой с супиром, мне пришла в голову мысль, что, должно быть, удивительно весело родиться на свет красавцем и вырасти на славу себе, на украшение мира и на утешение барынь.

– Осип Ильич! слышишь, Осип Ильич! – вдруг раздался женский довольно решительный голос возле моего правого уха, – посмотри сюда, вот на этот портрет... Да куда ты смотришь?

Налево... ну, вот. Уж красота, можно сказать, что красота! да и цепочка какая дорогая! должен быть миллионер!

– Славная цепочка! – возразил мужской нерешительный голос, – и с каким вкусом жилетка... Заметьте жилетку, Аграфена Петровна...

Я обернулся, чтобы посмотреть, кто делал эти остроумные замечания, и увидел подле себя толстую и низенькую женщину в чепце, в персидском платке, с кожаным ридикюлем, и ее кавалера, также небольшого роста, седенького, в вицмундире.

Эта барыня продолжала, обращаясь к своему кавалеру:

– Что, Осип Ильич, ведь работа-то почище Алексашенькиной? бархатец на жилетке каково сделан?

– Бесподобно, бесподобно! нечего говорить! Однако слышал я большие похвалы и его картинам, и слышал от людей солидных.

– Не верится что-то; да где же они, мы еще до сих пор их и не видали?

– Видно, подальше, в других залах. Пойдемте.

И они отправились далее. Я вслед за ними. Что это за Алексашенька? Мне также захотелось посмотреть его картины...

Я проходил залу за залой и должен был беспрестанно останавливаться перед различными картинами, выслушивать критические рассуждения барыни о достоинствах и недостатках этих картин и подобострастные, осторожные замечания ее кавалера. Мне уж стала надоедать прогулка за этими господами; барыня также начала изъяслять громогласно свое нетерпение, не видя Алексашенькиных картин, и явно сердилась на своего спутника... «Ну, да где же его-то картины? – вскрикивала она. – Видно, тебя обманули: их совсем нет, да куда ему и соваться с своей работой...»

Наконец мы достигли до последней залы. В этой зале, как и во все продолжение выставки, была страшная теснота. Барыня с ридикюлем отвалено продиралась сквозь толпу, кавалер ее следовал за нею, а я за кавалером. Она впереди всех остановилась перед «Ревеккою», почти у самой рамы, и посмотрела вниз на бумажку с надписью. На этой бумажке было написано большими буквами: Г. Срезневского. Барыня прочла надпись и замахала рукой своему кавалеру: «Сюда, сюда, поближе! ну, да пробирайся же!» Кавалер с большими усилиями подошел к ней. Я остановился немного в стороне, так, что мог их видеть и слышать их разговор. Минуты три пристально разглядывали он и она эту картину; потом она обернулась к нему, на лице ее заметно было волнение; и он обернулся к ней; его желтое и сморщенное личико остолбенело, в его мутных глазках и выразилось что-то похожее на недоумение...

Она воскликнула: «Осип Ильич?»

Он прошептал: «Аграфена Петровна?»

Она указала пальцем на Ревекку:

– Ведь это покойница? Он покачал головой:

– Покойница.

– Каков, сударь, Алексашенька-то? Он все покачивал головой:

– Да, да, да! две капли воды.

Так вот кто Алексашенька! Я стал еще внимательнее прислушиваться к этому странному разговору, но в эту минуту толстый и высокий господин с лысиной очутился возле Аграфены Петровны.

– Аграфена Петровна, Осип Ильич! – воскликнул он басом, немного в нос...

– Семен Федорыч! приятная встреча.

– Что, как вам нравятся картины? Есть, я вам скажу, дорогие, просто дорогие, но лучше всех вот эти две, они одним живописцем написаны. Прелесть, просто прелесть! Кисть этакая мягкая, так все соблюдено; видно, что списывал с натуры...

– И, батюшка Семен Федорыч! да что в них особенно хорошего? Я и живописца этого знаю; такой дрянненький... Разве и другая-то его же картина?

– Его, – а славная вещь, просто славная!

Аграфена Петровна начала рассматривать «Девушку на берегу реки» и чрез минуту, указав на нее пальцем, закричала:

– Осип Ильич, знаешь ли что? Ведь и это покойница.

– Хм! – произнес Осип Ильич, – покойница! только та, – он указал на «Ревекку», – больше похожа на покойницу.

– Все единственно...

– Какая покойница? – с удивлением спросил господин с лысиной и, посмотрев вниз на Осипа Ильича, продолжал: – Не хотите ли табачку? у меня отличный, просто отличный табак-рапе.

Он вынул из бокового кармана табакерку золотую с эмалью.

– Разве я не рассказывала вам этой истории?.. Ах, Семен Федорыч, какая у вас табакерка!... дорога, я думаю?

– Да, ценная вещишка; эмаль какая, посмотрите: тончайшая отделка, просто тончайшая. Я купил ее на аукционе, она принадлежала князю Л.; у меня их и не одна, правду сказать; я собираю коллекцию.

– Весело носить такую табакерку! – вздыхая, промолвила Аграфена Петровна.

– А про какую это историю вы говорите?.. Какая покойница? Тут на картинах нет никакой покойницы.

– Ах, батюшка Семен Федорыч! все мы смертные: придет и наш час. И ее уж нет, сердечной. Вот больше двух лет, как умерла.

– Да про кого это вы рассказываете, Аграфена Петровна?

– Про дочку нашего генерала. Славная была девушка, умница, обо всем знала. Бывало, как сидишь с ней, чего она не порасскажет... да, видно, лукавый попутал: сбилась, совсем-таки сбилась, ни за что пропала!.. Уж он за нее на том свете поплатится.

– То есть кто он?

– Да вот этот живописишка. Ведь хотя он мне и родственник причитается, да бог с ним, я давно на него и рукой махнула и знать не хочу. Пропадай он совсем! Как лукавый-то попутал ее, она и влюбилась в него...

Осип Ильич в продолжение этого рассказа боязливо озирался вокруг, чтобы кто –нибудь не подслушал речей Аграфены Петровны.

– Влюбилась! Знаем мы эту любвишку, была и я молода, все мы были молоды, да спасибо родителям: дурь из головы как раз выколачивали. Вот видите ли, тогда жива была старушка, его мать; с полгода назад она умерла. Бог-таки наказал его!.. Жили они в бедности: сами знаете, в этом звании скоро ли наживешь копейку! А она, Софья-то Николаевна, дочка-то генеральская, под видом добродетели и ходила всякий день навещать старушку, – вишь хитрость какая! Тут они и сошлись покороче, а он и списал с нее эти портреты, и ведь потрафил, просто как на живую смотришь, да еще и теперь не посовестился выставить в публичное место, – бесовская душа!.. Я проведала тогда об их шашнях, все и порассказала генеральше, – она так и ахнула! Что же, батюшка Семен Федорыч? все поздно было: Софья-то Николаевна вскоре и отдала богу душу.

– Ах, какая история! – воскликнул господин с лысиной. – Чего не бывает, подумаешь, на свете!

В эту минуту чья-то рука опустилась на мое плечо. Я посмотрел назад: то был мой старый приятель и товарищ.

– Хочешь познакомиться с Средневским?

«Как нельзя кстати», – подумал я. – Разумеется, хочу.



– Пойдем же со мной.

Живописец, эпизод из жизни которого – верный или неверный – я так нечаянно выслушал, стоял в соседней зале в амбразуре окна и благоговейно внимал рассказам длинного человека в предлинном сюртуке. Подходя к окну, я слышал только несколько слов, дидакторски произнесенных:

– Художник! великое слово... В этом слове вся эссенция человеческой мудрости. Страшно шутить этим словом. Вот, посмотри хоть бы эту картину – хорошо, а нет этого, – и длинный человек сжал пальцы правой руки и выставил эту руку вперед, вероятно, чтобы яснее показать, чего нет и что такое – это.

Я познакомился с Средневским. Он застенчиво поклонился мне и, заговорив со мной, покраснел... Лицо его было довольно полно, черты неправильны, но приятны, белокурые волосы его вились от природы. Его черный сюртук был довольно поношен и, казалось, сшит не по нем, а куплен готовый; он держал в руке шляпу, порыжелую и истертую, и смотрел на длинного человека, как ученик смотрит на учителя.

Длинный человек продолжал:

– Ты талант, торжественно тебе объявляю – и публика уже оценила твои картины. Твой успех несомненен. Иди смело вперед. Ты будешь ближе всех к Доминикино, а Доминикино великий мастер. Дай бог только быть тебе счастливее его в жизни.

И длинный человек, проговоря это, взял руку молодого живописца и многозначительно пожал ее.

Живописец покраснел до ушей и несвязно лепетал что-то, повертывая в руке свою истертую и порыжелую шляпу.

## II

Во время оно я посещал литературные общества. Вы, невинный читатель мой, верно, не подозреваете, что у нас в России это самые приятнейшие из всех обществ. Соберутся шесть или семь человек стихотворцев и прозаиков; несколько любителей, офицеров и статских, в том числе один или два артиста. Офицеры – по большей части пехотные и морские, особенно морские: они невообразимые охотники до литературы. Статские все в очках, глубокомысленной наружности. Комната не слишком большая, не слишком маленькая. Все эти господа пускают изо рта страшные тучи дыма и пьют чай в стаканах с лимоном. Литераторы первого разряда и статские в очках курят сигареты, литераторы второго разряда и пехотные офицеры – жуковский табак... Облака дыма носятся по комнате и застилают две лампы, без того довольно тускло горящие. Все физиономии в тумане; дым придает этой картине что-то неопределенное и до слез щиплет глаза. Разговоры чудо как занимательны:

– Тебя разругали в таком-то журнале.

– Да и черт знает за что, братец! Я ничего его не сделал. Он задирает первый.

– А тебя расхвалили?

– Ты счастлив, тебя вечно гладят по головке!

– Твои последние стихи – прелесть, братец!

– Ваша повесть мне очень понравилась.

– По двести рублей за лист. – Сколько мы вчера пили!

– Скажите, кого выставили вы в вашей повести? – Никого; это лица вымышленные. – Неужели? а я думал, что вы с кого-нибудь списали... – Я придерживаюсь напитков слабых, как-то мадеры, портвейна...

В таких разнообразных и поучительных разговорах время проходит незаметно; посмотришь на часы – и уж далеко-далеко за полночь.

И вот, в один прекрасный вечер, недели три после закрытия выставки, я попал в такое сборище. Там между прочими нашел я и нового знакомого моего, живописца. Он, несмотря на огромный успех своих картин, о которых говорили и кричали повсюду, сидел еще скромно в уголку и смиренно покуривал вакштаф из длинного деревянного чубука.

Я подсел к нему.

Он протянул мне руку очень искренно и дружески, будто век был знаком со мной.

– Я все собирался к вам в мастерскую. Ваши картины, которые были на выставке, еще у вас...

– Да, они еще у меня, – отвечал он, посмотрев на меня, – многие желают приобрести их и дают мне такую цену, которой они вовсе не стоят, но мне жаль расстаться с ними.

«Это очень понятно, и мне более, чем кому-нибудь», – подумал я. Я вспомнил невольно рассказ барыни о генеральской дочке, подслушанный мною на выставке. Мне хотелось узнать, до какой степени этот рассказ вероятен.

– Не покажется ли вам странным и нескромным мое замечание? – начал я этою истертою фразою. – Меня, и, впрочем, не одного меня, поразило сходство лица вашей «Ревекки» с лицом девушки на другой картине. – И, сказав это, я пристально посмотрел на него.

Он вспыхнул и смешался.

– Да, это правда, это большой недостаток... Это... – И он не мог ничего сказать более.

– «Э-ге! да, видно, барыня-то не совсем солгала...» – Его смущение мне, однако, очень понравилось. Он, кажется, еще слишком молод и, по-видимому, жил в большой бедности. Что же? это ничего: года через два разбогатеет да пооботрется в обществе, понасмотрится и поприслушается, а там и перестанет краснеть... Не вечно же кутаться и прятаться в детских пеленках;

право, чем скорей, тем лучше сбросить с себя все эти забавные украшения и сойтись лицом к лицу с действительностью...

– Так вы решительно не хотите расставаться с вашими картинами?

– Может быть, я нехотя должен буду расстаться с ними. Не знаете ли вы князя Б\*?

– Нет, не знаю.

– Он приехал сюда на время, а живет постоянно в Москве... Князь так добр и так расположен ко мне: он раза два или три в неделю посещает мою бедную мастерскую и непременно хочет иметь мои картины, – а ему, которому я, в короткое время знакомства, обязан многим, ему отказать мне совестно...

В эту минуту один из морских офицеров подошел к художнику.

– Чем изволите заниматься теперь? – спросил он его.

– Оканчиваю два портрета.

– Чьи-с?

– Генерал-адъютанта Ф\* и графини К\*.

«Прекрасно! – подумал я, – в добрый час! он начал славно». Я еще что-то хотел подумать, но вдруг в передней раздался звонок с такою силою, что многие вздрогнули. Дверь отворилась, и в комнату вошел мерными шагами тот длинный человек, которого я видел на выставке. Бегло взглянув на всех и еще не кланяясь никому, он подошел к молодому художнику.

– Очень рад, что нашел тебя здесь. Мы только сейчас говорили о тебе в большом обществе, где были почти все дамы. Ты их с ума свел своими картинами. У дам тонкий, эстетический вкус. Я восторгу дам верю более, нежели рассуждению иного ученого критика. Да!..

Произнеся это, длинный человек обратился ко всем. – Здравствуйте, господа! – Здравствуй, душа моя! здоров ли ты? – Здравствуйте! – раздавалось со всех сторон, и все подходили к длинному человеку и протягивали ему руки, и он всем приветливо улыбался. Три офицера и один статский молча поклонились ему. Четвертый офицер подошел к статскому в очках и, толкнув его под бок, таинственно шепнул ему, указывая глазами на длинного человека: «Вот, mon cher, ум-то и талант! У, у, у! У него обо всем такие оригинальные суждения; послушай его... А сведения какие! Он, кажется, всю ученость проглотил».

– Хозяин дома, поди сюда! – продолжал длинный человек, нахмутив брови и между тем улыбаясь едва заметно. – Ну, прежде всего поцелуемся. Вот так: а потом я всем скажу слово. Присядьте-ка, господа.

Мы все сели.

– Между нами есть человек, которого имя со временем станет наряду с именами первых художников, если он будет умен. Мы все будем им гордиться и его чествовать. Вы догадались, о ком я веду речь?.. – И оратор посмотрел на бедного живописца, который потупил глаза в стол и, казалось, боялся пошевелинуться.

– Да, его произведения, которыми вы все любовались – диво! Надо уметь оценить их вполне; в них бездна того, о чем и рассказать нельзя, но что доступно только посвященным в таинства искусства...

Офицер и статский при этих словах перемигнулись друг с другом. Этим миганием они хотели сообщить друг другу то удивление и тот восторг, который проникал их насквозь от обаятельной силы красноречия длинного человека.

– Дело в том, что ты, хозяин дома, во славу и дальнейшее преуспевание русских художеств, должен непременно угостить нас шампанским! Сегодня экстренный случай. Мы еще не поздравляли его. Итак, первый тост за его успехи! – И он указал пальцем на бедного живописца, который все еще не поднимал глаз.

– Bravo, bravo! превосходная мысль! – раздалось несколько голосов. И увь! хозяин волею или неволею, должен был повиноваться.

Скоро раздался гармонический звон стаканов, и первая бутылка очутилась перед носом длинного человека. Он любовно посмотрел на нее, ласково погладил ее благородную шею и занялся ее откупориванием.

С страшным залпом вылетела пробка, и шипучая, звездистая влага вырвалась на свободу. Стаканы были наполнены. Все обратились к художнику при неистовых криках. Он старался, и очень заметно, скрыть свое удовольствие, но не мог. В порыве этого удовольствия он схватил за руку длинного человека и крепко пожал ее; но длинный человек отдернул свою руку и протянул к нему свои объятия. «Поцелуемся!» – сказал он, и они наклонились друг к другу и поцеловались через стол.

Потом длинный человек начал декламировать о том, что такое Шекспир, что такое Гете и Шиллер, что такое Москва и Петербург, Микель-Анджело и Рафаэль, какая судьба ожидает искусства в России...

Все слушали его, и дивились ему, и пили. Морские офицеры были вне себя от его речей. Он был оракулом этого маленького литературного кружка, а потому пил больше всех и поил художника. Шампанское потоком лилось в уста оратора, вдохновение потоком изливалось из уст его. Опорожненные бутылки начинали вытягиваться строем; лица собеседников ярко горели; в краткие минуты отдыха оратора уже литераторы второго разряда смелее начинали подавать свой голос.

Вдруг длинный человек приподнялся со стула, облокотился обеими руками на стол и торжественно обвел глазами все общество. Литераторы второго разряда тотчас смолкли, тишина воцарилась в комнате.

– Еще слово, и это слово опять-таки к виновнику нашего пира, к творцу Ревекки! От лица русских художеств обращаюсь я к нему и даю следующий совет...

– Говори же скорей и чокнемся! – воскликнул творец «Ревекки»...

– Молчи... Совет мой будет тебе полезен, и да не изгладится он из памяти твоей во всю жизнь. Ты еще молод, неопытен, выступаешь на поприще скользкое. Тебе бог дал талант, и зависть обовьет тебя и сдавит, как змеи Лаокоона, – и тысячи змеиных голов устремятся и будут шипеть и изливать яд свой. Да, я знаю это по собственному опыту, – но не бойся. Трусость хуже всего, иди смело вперед и не кланяйся на пути прохожим. Надобно, чтобы они тебе первые кланялись. Не пренебрегай деньгами из пустого идеализма. Деньги – все: они и любовь, и дружба, и счастье, и слава! Не морщись, – поживи с мое, узнаешь, прав ли я. Деньги имеют силу сверхъестественную. С деньгами тебе неопасны будут и змеи, которые обовьют тебя; покажи им горсть золота, они сейчас же потеряют свою силу и отпадут от тебя... Итак, прежде всего наживи деньги. Искусство искусством, деньги деньгами; одно не только не мешает другому, а еще пособит. Без денег нет внутреннего спокойствия, а без внутреннего спокойствия творчество не придет к тебе. Деньги и деньги! Наживешь деньги – поезжай в Италию, подыши тем воздухом, которым дышали Торквато, Рафаэль, Данте, Тициан и Доминикино... Открой в Риме большую и богатую мастерскую, возьми кисть – и пиши... вдохновение при таких обстоятельствах явится к твоим услугам, об этом не заботься – и к тебе в мастерскую нахлынет вечный город и будет тебе аплодировать. Праздные путешественники съедутся со всех концов земли смотреть твои картины; журнальные листки прогремят о тебе... И тогда, тогда только вздохни свободно и легко и скажи самому себе: слава моя упрочена, теперь мне за нее трепетать нечего. Потом, если вздумаешь, возвращайся в Россию, живи и наслаждайся жизнью, пиши даже дурные картины, если художественные силы твои истощатся, – ничего: и дурными твоими картинами будут все восхищаться, потому что имя твое уже освящено. Но, не заставив кричать о себе в чужой земле, ты ничего не выиграешь в своей. Теперь ты понравился, тебя хвалят, тыходишь в моду; все это непрочно: мода пройдет и тебя забудут, деньги ты проживешь, вновь будет взять неоткуда. Dixi!

И длинный человек тяжело опустился на свой стул. Опять раздалось громкое браво, но художник молчал, он немного попризадумался... однако через минуту налил себе стакан вина, выпил вино до капли и закричал:

– Что будет, то будет, а теперь станем пить!

– Хорошо сказано! – проворчал длинный человек. И снова стаканы наполнились.

Через два дня после этой попойки, в одном петербургском журнале объявили самыми громкими, вычурными и бестолковыми фразами, с маленькою примесью чего-то вроде остроумия, что молодой художник, г. Средневский – кандидат в гении, и что две его картины, восхищавшие всю петербургскую публику на выставке, могут смело соперничать с лучшими картинами Тициана и Рубенса!

### III

Осень, скучная и грязная осень, наступила, и говорили, будто ранее обыкновенного, хотя в тот год в Петербурге совсем не было лета. Я переехал с дачи в начале сентября; дождь лил ливнем, наводя уныние; мутное серенькое небо оскорбляло зрение; я решился никуда не выходить из дома. В это время очень кстати вздумал довольно часто посещать меня мой живописец. Мы постепенно привыкали друг к другу; он становился со мною непринужденнее, открытее, и меня очень занимали его разговоры. Дождь стучал в окна, а нам у камина было так тепло и покойно! Он сделался, как я заметил, вообще гораздо развязнее, он мог даже спокойно лежать на кушетке, протянув ноги, и не вскакивать, если кто-нибудь входил в комнату. Картины свои он продал князю Б\* за большие деньги: это можно было тотчас заметить, потому что на нем был коротенький сюртук, дивное произведение одного великого и дорогого петербургского артиста, славно выказывавший его прекрасную талию; черный атласный платок с длинными концами, небрежно завязанный узлом и зашпиленный маленькой золотой булавкой; тонкое белье. Все это преобразило его. И как шли к этому его длинные белокурые волосы, его голубые глаза. Я любовался, глядя на него; я был уверен, что женщины на него заглядывались. И он был весел как дитя, забавляющееся новыми игрушками. Первые два портрета удались как нельзя лучше; об этих портретах заговорил весь аристократический люд и удостоил его чести быть своим привилегированным портретистом. Позолоченные двери салонов отворились перед ним; мир чудный, роскошный, неведомый открылся перед ним: и ковры, и бронзы, и шелк, и бархат, и мрамор, и вся эта сказочная роскошь тысячи одной ночи. Он, очарованный, вдохнул в себя эту негу, эту тончайшую амбру, которая так непостижимо-усладительно щекочет обоняние бедняка, сыздетства более привыкшего к гераням и ноготкам, чем к пышным, махровым розам, гелиотропам и гиацинтам... Ярко и живо описывал он мне свою робость, которую так мучительно ощутил он в первый раз при взгляде на расточительность богатства, на наружный блеск, на этих женщин, так непостижимо – грациозных, так страшно-соблазнительных. Когда он говорил об них, он весь дрожал, на глазах его блестели слезы. Я понимал его юношеский жар, но, слушая его, смеялся от всей души. Ни разу, однако, в разговорах со мною он не касался своего прошедшего, даже мне показалось – избегал этого, несмотря на то, что иногда откровенно высказывал мне свои задушевные мысли. Случилось как-то, что он засиделся у меня часа до второго; я уж начинал зевать – он увлекся моим примером и наконец взялся за шляпу; вдруг мне пришел в голову рассказ барыни на выставке, я остановил его и передал ему этот рассказ от слова до слова и в лицах.

Когда я кончил, он положил свою шляпу на стол и бросился на диван в заметном волнении.

– Проклятая чиновница! – сказал он, – никак не может оставить меня в покое. Но за себя я прощаю ей; меня возмущает только то, что она осмеливается тревожить память этой девушки, которую я точно любил. Она была чудная, редкая девушка! Воспоминание о ней – самое святое воспоминание моей жизни. На моих картинах точно она... – Он до рассвета просидел у меня, рассказывая историю этой бедной девушки, дочери чиновного человека, и свое знакомство с нею.

– Я бы готов был, – сказал он, уходя от меня, – жить снова в бедности и неизвестности, переносить всевозможные лишения, только бы увидеть ее хоть один раз еще, услышать ее голос. Верите ли, я иногда не сплю по целым ночам: мне представляется, что я должен увидеть ее, и я жду этого чудесного явления с сладким трепетом сердца – но все напрасно! Мне часто слышится ее походка, и я вздрагиваю.

Этой последней эффектной выходкой, этими таинственными фразами он хотел, казалось, произвести на меня впечатление, хотел придать своей прежней любви интерес поэтический, –

уверить меня, что эта любовь была так глубока, так велика, что на нее не могло иметь влияние даже время всесокрушительное и всеохлаждающее; он хотел обмануть меня и, сам не подозревая, обманывал вместе с тем самого себя. Не шутя пораздумав, верно он не принес бы ничего в жертву для возвращения своего прошлого. Настоящее всегда несравненно существеннее, увлекательнее и заманчивее, несмотря на все красноречивые<sup>1</sup> доводы милых мечтателей... Жизнь внешняя впервые явилась перед ним фантастически-разумная, страстная, как вакханка в венке из сочных и продолговатых гроздиев, с соблазном на устах... и она манила его в свои роскошные объятия, звала на свою пламенеющую грудь и то небрежно раскидывалась перед ним, то окружала себя мгновенным, ослепительным блеском...

О, прочь все благоразумные советы и предостережения людей опытных, и высокие примеры самообладания и самоотречения! Молодой человек жаждет жизни; у него страшно кипит кровь, радостно бьется сердце надеждами, взор светлеет любовью и верою, кудри прихотливо и живописно выются до плеч – и он без размышления предается лукавой чаровнице, и он, как у Шиллера, бросается в мрачную и страшную бездну за драгоценным золотым кубком.

Жизни, жизни ему! Он упивается настоящей минутой, для него прошедшее – мертвая развалина, будущее – туман непроницаемый... Он, переполненный силами, хочет действовать, а не сидеть сложа руки, не болезненно мечтать и пресмыкаться в кругу фантомов, выходцев с того света, и бесцветных идеалов, насильственно вымученных у бедного воображения.

Моего живописца, слава богу, занимало все, потому что для него все было ново – и он не успел выучиться скрывать своего девственного восторга. Правда, по странности, свойственной многим людям, он нередко употреблял старание казаться не тем, чем был, прикидываться недовольным, идеальничать, говорить разочарованным, элегическим тоном русских стихотворений, – но это было ненадолго: он тотчас же выходил из своей неприличной роли, сбрасывал с себя смешную маску и являлся в настоящем своем виде.

И в эти идеальные минуты он был чудо как хорош!.. Он требовал от жизни такого, чего и сам не мог растолковать себе; он хотел пересоздать всех и все, приделав к себе крылья – и, вроде Амура, летать в облаках и упиваться небесным ароматом, и свысока смотреть на презренное человечество, ползающее внизу. Он рассуждал о предметах совершенно новых, как-то: о созвучии двух душ, о счастье быть любимым не по-здешнему, не по-земному; о высшем блаженстве найти себе девушку, облеченную в ризы ангельские, и слиться с нею в полной гармонии, а потом умереть, – и проч. и проч., о чем прекрасно рассуждает всякий герой какого –нибудь романа или повести в высоком роде, написанной для разрешения нравственно – философического вопроса. Иногда же он толковал о том, что любить никого не может, даже и в таком случае, если бы «неземная», которую он хотел отыскать, вдруг откуда-нибудь прилетела сама и чистосердечно объявила, что она сгорает к нему самую страстную и вместе с тем самую небесную любовью. «Любят один раз в жизни, – говорил он. – Нет той, которую любил я, – и для меня не может существовать другая любовь!»

Эти слова доказывали, однако, что он непреодолимо желает любить – и при первом удобном случае готов влюбиться до полусмерти. Так прошло два месяца, – и он до того приучил меня к себе, что когда не являлся в условленное время, – а это случалось редко, – мне становилось без него неловко, скучно. Привычка великое дело, к тому же я необыкновенно люблю и уважаю тех людей, которые отвлекают меня от моих занятий и дают мне предлог оправдываться в бездействии перед самим собою. Мой юноша говорил много об искусстве, и говорил с жаром, с увлечением. У него было глубокое чувство – и чувством он понимал то, чего другие никогда не поймут умом. Не одно искусство, которому он посвятил себя, исключительно занимало его, исключительно было доступно ему: он много читал, он был в восторге от Гете; «Вильгельм Мейстер» был его настольною книгою: бесконечный поэтический мир открывался перед ним в этой чудной книге; его любимую мыслью было изобразить на картине Миньону; он наизусть декламировал многие места из трагедий Шиллера и, декламируя, горячился и раз-

махивал руками. Надобно было его видеть в ту минуту, когда он прибежал ко мне с известием, что прочел «Мейстера Фло» Гофмана. «Гофман великий поэт, великий! – кричал он, бегая из одного конца комнаты в другой. – Эти господа, которые кричат, что он с талантом, но чудак, что у него немного расстроено воображение, – они не понимают его, – они, эти не-чудаки, эти умники, читая его, видят только перед своими глазами одни нелепые и безобразные фигуры и не подозревают, что под этими нелепыми фигурами скрываются дивные, глубокие идеи, идеи, доступные только поэтической душе, живому сердцу, а не их мертвым и засушенным умам!» Воздушная красавица, незаметно скрывавшаяся некогда в чашечке роскошного тюльпана и снова вышедшая оттуда во всем прихотливом убранстве своем, эта непостижимо-пленительная принцесса Гамагег долго повсюду носилась за моим живописцем и приводила его в такой восторг, которого, вероятно, при взгляде на нее не чувствовал и сам великолепный царек блох, удивительный мейстер Фло. Шекспир... но Шекспира мой живописец читал мало, благоговей перед ним более понаслышке, и если говорил о нем, то с очень заметною умеренностью. Душа его требовала образов идеальных, звуков гармонических, мыслей отвлеченных; он искал в поэзии удовлетворения своим личным ощущениям. Ему страшна была эта неумолимая истина, эта наружная холодность, эта могучая полнота жизни в созданиях великого; он еще не приготовился, чтобы войти в этот мир без всяких украшений, в мир как он есть, во всем своем возмутительном безобразии и во всей увлекательной, божественной красоте своей; форма этих созданий пугала его, останавливала на каждом шагу, была ему недоступна, удерживала его юношеский восторг, не давала разыгаться его чувству, не возвысившемуся до сознания; ему еще дико казалось это творчество – громадное, бессознательное и бесстрастное. И я не удивлялся этому, не противоречил ему, но всегда с участием слушал его восторженные речи; только, бывало, когда он заговорит о небесной «любви» и погрузится в мечтания, я спокойно начинал дремать. Он заметит действие, произведенное на меня его фантазиями, и сам расхохочется над собою...

Но вместе с осенью кончились наши частые свидания, он почти перестал бывать у меня, несмотря на то, что зимние пути сообщения несравненно легче. Сначала это меня удивило; я думал, не сердится ли он на меня за что-нибудь, и однажды, встретив его на улице, шутя заметил ему, что он совсем разлюбил меня. Он извинялся, говорил, что не имеет минуты свободного времени, что завален работой и еще что-то в этом роде.

Это была явная отговорка, обыкновенные фразы, употребляемые для того, чтобы не совсем оставлять без ответа того, кто нас спрашивает о чем-нибудь. Я уже начинал забывать о моем живописце, но вдруг общие слухи о нем дошли и до меня. Загадка, почему он перестал ходить ко мне, объяснилась: он находился под влиянием длинного человека! Меня это несколько не удивило: я знал, что длинный человек стоит на ловле возникающих талантов, заманивает к себе неопытных и опутывает их своими сетями с большим искусством.



## IV

Теперь позвольте мне познакомить вас покороче с длинным человеком. Он средних лет, ходит мерными шагами, говорит с расстановкой, важно, уверительно, иногда поднимая глаза к потолку, иногда опуская их к полу; речам своим он старается всегда придавать таинственность, относятся ли эти речи к сатаническому поэту Байрону или просто к погоде. В первые годы молодости он искал себе славы – и славу свою хотел основать на трех, сочиненных им, длинных поэмах, в 2500 стихов каждая. Тогда еще у нас была мода на поэмы. Этими тремя поэмами он возымел дерзкое намерение сокрушить всю предшествовавшую русскую литературу от Ломоносова до Пушкина включительно. А для того, чтобы о его гении трубили заранее повсюду, чтобы везде прославляли его и удивлялись ему, – он, еще до напечатания своих длинных поэм, собирал около себя юношей безвестных, невинных и пылких, которых так легко приводить в восторг, так легко заставляя удивляться. И невинные и пылкие от всей души аплодировали ему и кричали о нем, где только могли кричать. Но вот появились наконец в печати длинные поэмы – и заговорили сами за себя, и произвели эффект. Тогда длинный человек отпустил от себя невинных и пылких: в них уже не было ему никакой надобности. Его длинные поэмы все читали, хоть, может быть, никто не дочел их конца, все хвалили и все говорили: «Да посмотрите, как они длинны, огромны!» На всех нас, русских читателей, – это истина неоспоримая, – действует еще до сих пор гораздо более количество, нежели качество, и потому наши сочинители, как люди умные и сметливые, основывают всегда свою известность на количестве томов, и потому мы, например, говорим: Пушкин – сочинитель «Цыган», Херасков – творец «Россиады»!..

Длинный человек вполне уразумел эту великую истину, и общий голос включил его в почетную шеренгу литераторов первого разряда. Но он не удовольствовался этим и возжаждал – славы! Слава издалика улынулась ему, но он, при всем своем уме, не понял ее двусмысленной улыбки и бросился к ней, – а она дальше и дальше, а он все за ней. Шли годы, его никто не видел; в эти годы он все гонялся за славой; между тем люди неблагодарные и жестокие стали помаленьку забывать и его, и его длинные поэмы. Эгоисты! они требуют, чтобы беспрестанно забавлять их и вертеться у них перед глазами! Он наконец возвратился утомленный, не догнав ее, этой соблазнительной славы. Тогда, с болью в сердце, увидел он свою ошибку. Остаться в забвении он не мог; надобно было придумать средства к поддержанию своей известности. Какие же средства? Длинный человек хитер, изобретателен: чувствуя, что его неостанет более и на 300 стихов, он перестал писать стихи и снизошел до прозы. Прозой писать, говорят, ничего не стоит, необыкновенно легко. Итак, он снова бросил имя свое неблагодарным людям под какую-то прозаическую статью. Люди вспомнили о своем прежнем забавнике, и хоть не с прежним энтузиазмом, но заговорили о нем. Журналисты – души добрые и неподкупные, страдальцы, подвергающиеся разным клеветам и наветам своих бесталанных завистников, они, приятели длинного человека, объявили благосклонной публике, что длинный человек пишет мало и прозой оттого, что не хочет писать много и стихами; а стоит ему захотеть – и появится удивительная не только поэма, но целая эпопея в шесть раз больше виргилиевой «Энеиды».

Между тем длинный человек уединился в собственное величие, понял тщету земного; он исподтишка лукаво улыбается и думает: «Ждите, ждите моей поэмы, друзья мои, и смотрите на меня с надеждою, я проведу всех вас! Я буду жить теперь не для вашего удовольствия, а для своего; я окружу себя молодыми поэтами, музыкантами, живописцами, всеми возможными талантами, на которых только обращено внимание: из них я составлю блестящую рамку для своего собственного портрета, и мной вы будете любоваться и говорить про меня: он друг такому-то первому художнику, такому-то первому композитору, он все знает с „первыми“!..

Художники, особенно молодые, доверчивый и недогадливый народ: они не поймут, что мне они необходимы для собственного моего украшения... Человек совестливый – за услугу, которую они, сами не подозревая, оказывают мне, – я научу их философии жизни; я разверну перед ними биографии гениев и докажу им, как дважды два – четыре, что все великое и прекрасное не оценивается современниками и терпит на земле горькую участь. Если они испугаются этой мысли, я скажу им: вздор, пугаться нечего; хорошее прячьте от людей, давайте им посредственное и берите за это с них денег, как можно больше денег. С деньгами же и веселитесь, и пейте. Недаром пили и веселились гениальные художники: стало быть, вино хорошо!»

И вот, благодаря своему успеху, мой живописец записался в несметное число друзей его и поступил на вакансию какого-то старого друга, который, изучив вполне «философию жизни», поблагодарил длинного человека за его уроки и удалился.

Я не знал, что этот литературный Мефистофель, переделанный на русские нравы, этот длинный человек давно уже заманивал к себе моего юношу. Правда, на том литературном вечере, где был я, куда и вас осмелился ввести, читатель мой, и я и вы заметили, что он, не шутя, за ним ухаживал; что, подавая ему советы, он тогда же, кажется, намеревался мало-помалу посвящать его в свои таинства. И должно отдать ему справедливость: он так мастерски растревоживал самолюбие своей жертвы, так приятно льстил этому неутомимому самолюбию! Он на себе изведal, что самолюбие есть вернейший проводник к человеческому сердцу.

Длинный человек любил публичную жизнь. Он был повсюду: и в театрах, и в концертах, и в ресторациях, и на улицах. Юноша мой всегда рядом с ним; он сделался его неразлучным спутником... Не вините моего юношу: праздная и разгульная жизнь кому не была в свое время по сердцу?

Сколько знакомств доставил ему длинный человек, и каких знакомств! В Петербурге, как и во всех европейских столицах, есть особенный класс молодых людей, которых вы не встретите никогда и ни в каком обществе. Они составляют свое отдельное братство и равно подсмеиваются над фешенеблями большого света и над любезными кавалерами среднего сословия. Это молодежь веселая и беспечная, для которой жизнь ровно ничего не стоит, для которой в жизни нет ничего такого, над чем бы стоило призадуматься, для которой всякий день – столы, уставленные жирными устрицами, и трюфелями, и кровавыми ростбифами, и бутылками разных форм и величин: с звездистым замороженным шампанским, которое действует так скоро, с бархатным, подогретым лафитом, который действует так медленно, и с сокрушительной темноцветной мадерой, и с густым пенистым портером, и с этою ароматною влагою в золотых бутылках с берегов Рейна...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.